

ТЕПЛО... Мягкое, обволакивающее тепло не колыхалось, не плыло, не шевелилось, а плотной укутывающей массой стояло на месте, и он стоял на дне этого черного шелкового тепла. Желтоватая луна спокойно смотрела на все, ветка груши над головой не шевелится ни листом. Белесоватые под светом плоды светились у самых глаз. Благословенная ночь. И может быть — земля? В Гурзуфе в этот час всегда шумело море и южное крымское ночное тепло двигалось мимо, обвывая мягко, влажно. А здесь все безмолвно — тепло, чернота ночи, сияние неб, тишина.

— Арде-мэ, фриже-мэ! — Пушкин вздрогнул: голос возник совсем рядом. Кто-то явно навеселе напевал, отставляя слово от слова, будто опираясь на канное из них.

Другой голос тотчас ответил первому — и тоже ритмично, тоже стихом, но Пушкин не смог бы повторить его — чужая, невнятная речь. Видно, последние посетители кофейни Антония, куда днем водил его прямо с дороги любезный хозяин Иван Николаевич.

— Бунэ ноапте, — произнес первый голос.

— Бунэ, — ответил второй, и все стихло...

Груша чуть шевельнула веткой — ветер прошел где-то поверху...

— Лапте, — машинально повторил Пушкин, вспомнив слово, означавшее молоко, — так сказала молдаванка сегодня под Бендерами, подавая ему теплую кружку.

— Лапте, ноапте, апте, — каной магний язык. Как эта ночь, как это тепло...

Створка окна распахнулась прямо напротив него:

— Александр Сергеевич, почивать пора. — Наумов выглянул в одной рубашке, готовый ко сну. — День у вас был тяжелый — с дороги. Пора...

— Поре, — почти и не произнес в ответ Пушкин и остался стоять как стол.

...Утром предстоял визит к наместнику.

ПУШКИН, чуть запыхавшись при подъеме на гору, взбежал на крыльцо, и пожилой молдаван, инзовский слуга, вышел ему навстречу:

— Пофтим, пофтим, пожалуйста. Иван Никитич в саду. Просил ждать. Садитесь, — и подвинул стул к громоздкому генеральскому столу.

Александр повернул стул, чтобы видеть сад и сел. Дверь в соседнюю комнату оставалась открытой, и чей-то голос не то диктовал, не то читал неспешно, почти по слогам — чиновник, видимо, переписывая что-то, повторял громко каждое слово:

— Ве-до-мость о привозимых из-за границы в Бессарабию то-варях... за август месяц 1820 года...

Александр продолжал смотреть сквозь окно в мелкий переплет. Вспомнил почему-то, что такие вот рамы запомнились ему во дворце Петра в Летнем саду и Меншиковском, кажется, дворце при его бесконечных прогулках вдоль Невы... Вдруг что-то шевельнулось за пределами деревьев: мелькнула широкая, сутулая немощь, спина генерала. Да он копают никак, вельможа-мудрец! Закричал громко, гортанно с верхнего балкона попугай, о котором ему говорил Наумов, а голос за стеной бесстрастно продолжал:

— По Скулянской пограничной таможне... башмаки турецкие, шали багдацкие, меха куньи, часы оловянные. Багдацские... Экзотика здесь, в Кишиневе, не остывала его второй день. Вчера прямо с дороги — греческая кофейня, хотя хозяин ее армянин и греческого в нем разве красная феска. Если и та не турецкая! Но шутна, шутна Антония канова!

— Сегодня кофе как вино! — сказал этот молодец им с Наумовым, забегая вперед, кланяясь и вводя в свой заглаженный вертел. И эти ввозимые через каную-то ску... скулянскую, кажется, таможню шаровары из сукна, в наних встретил их Антоний, фески и попоны шерстяные, бархат, атлас, гроденаль, шелковая клеенка, зеркала, в бумагу опрaвленные, — сказки Шахеразады, да и только, а писарь прелесть всю эту шамаханскую перебирает бесстрастно, будто часослов. Видно, пишет наместнику отчет.

Пушкин снова вспомнил, как пробира-

О КИШИНЕВЕ Я ВЗДОХНУЛ...

Лась его повозка по узким кривым кишиневским переулкам, спускался к квартире Наумова, и в который уже раз подумал: обширнее, беспорядочнее, безотраднее, беспризорнее деревни он не встречал. И потому дом наместника, нависающий белой громадой над скоплением лагу, показался ему летним дворцом Петра!

Послышались шаги на крыльце, что-то сказал слуга, и улыбающийся, со свежим розовым лицом наместник появился в дверях. Гость быстро поднялся со стула, с поклоном:

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, Александр Сергеевич. Простите, руку вам подать не могу — в земле. Ждал вас со дня на день. Да загорели как!

— Крым, Кавказ — не холодный Петербург... — весело улыбнулся гость.

— Пятого мая, помнится, выдал вам дорожную Каподистрия, а ныне конец сентября — неужели не забыли еще столицу?

— Забыл, забыл, — взмахнул рукой Пушкин. — С того дня, как благословили вы меня в Екатеринослав на счастливый путь, — сразу забыл. Лег в коляску больной, а через неделю встал здоровый.

— Рад, — улыбнулся старик, понимая, как благодарен ему гость за нечаянный отпуск на юг.

— А любезный генерал Раевский? Почтенное его семейство как?

— Генерал привяжет к себе каждого, кто достоин понимать и ценить его. Я полюбил в нем человека милого и ласкового, притом без предрассудков и с сильным характером. В наше время — совсем немало, — закончил Пушкин совсем тихо и вдруг погрузился.

Инзов смотрел на гостя, который, замолчав, кажется, и забыл о хозяине, вновь оказавшись в ушедшей уже жизни, которую так любил и которой, наверное, никогда до того не наслаждался... Потом, будто очнувшись, вздохнул:

— Теперь я один в пустынной для меня Бессарабии... — и поднял на Инзова глаза...

— Ах, Александр Сергеевич, — даже чуть обиделся наместник. — Не такая уж здесь пустыня. Сами увидите, поживите!

— У вас — сад! — снова посмотрел в окно Пушкин, будто желая загладить бестактность, обидевшую старика.

— Главный мой сад не здесь, — подхватил Инзов. — Сейчас вдоль дороги от Хотина до Бендер дал я распоряжение садить деревья. 100 тысяч! И сад общественный развести в Кишиневе...

— Вы вполне освоились здесь, хотя и недавно назначены...

— Освоиться трудно. Меня еще Иван Антонович Каподистрия, напутствуя сюда, предупреждал... Да вот она, его записка, — Инзов взял со стола бумагу с гербовой печатью. — «В земле, — написал статс-секретарь, — которая по несчастью находилась под таким правительством, каково турецкое, где лихоимство почитается позволенным правилом, люди поневоле приуча-



ются соблазнять друг друга приманкой золота... Бояре бессарабские, особенно же мелкое и новое дворянство тамошнее... суть действительно люди самые опасные в сам отношении», — Инзов отложил бумагу. — Вот и собираем здешний верховный совет, а бояре то не являются, то сидят полусонные, с видом неудовольствия, думая, как бы вернуться домой... А дел нерешенных не убавляется. А сколько бы вы думали может быть этих нерешенных дел?

Пушкин поднял брови:

— Сколько?

— Шесть тысяч, Александр Сергеевич! Шесть тысяч. А решено за два года... 711

— А вы говорите не пустыня, — расхохотался Пушкин. — Сия пустынная страна...

Инзов ожил, заметив интерес Пушкина — поэту до прозы ли! И, ободренный его репликой, продолжал — о тысячах дел в суде, о мздоимце, кишиневском полицмейстере, на днях уволенном со службы за то, что деньги, взимаемые с привозимых товаров, клал себе в карман...

— С башмаков турецких, шалей багдацских? — уставил Пушкин.

— Если б только с шалей! — засмеялся Инзов.

Лицо Пушкина, обращенное в сад, стало вдруг сосредоточенным, серьезным. Где, когда слышал он о сребролюбивых, подкупающих начальство турках? Кто рассказывал ему из людей, лично с этим столкнувшихся? Кто? Помнится, человек этот сам служил... Малиновский! Конечно же, Василий Федорович Малиновский, его любимый директор Лицея, бывший русский консул в Яссах, что недалеко от этих мест! Это он, собрав вечерами Пушкина, Пушкина и сына своего Ивана, заводил речь о службе в Яссах. Это ему в первые же дни местные власти выложили на крыльцо кошелек с деньгами — так называемую «пенсию консула», которая всегда была намного выше оклада. Неделью лежал кошелек — никто не решался приблизиться к нетронутой консулом дани.

— Вы не слышите меня? — мягкий голос Инзова вернул его из Царского Села.

— Простите, Иван Никитич. Вспомнил Малиновского, директора Лицея нашего.

— Консула в Яссах?

Так вот что для поэта чужая страна, чужая история — имья! Живое имья! И Инзову стало вдруг ясно, что в этой «пустынной стране» может пробудить интерес к ней этого златорного соплея, может быть, райской птицы, — история!

— Здесь и недавняя история дышит славою, — произнес Инзов и перечислил: Михайло Илларионович Кутузов, Багратион, граф Милорадович!

— Теперь вот Инзов, — продолжал Пушкин, взглянув на французскую шпагу на стене. — Не эта ли шпага маршала Нея? Как были вы его, мне рассказывал генерал Раевский.

— Ней был раньше. Это шпага генерала Вандаммы. 13-й год. Кульм. Но расскажите лучше, про путешествие с Раевским.

— Я и вправду не видел в нем героя. А ведь он из героев герой!..

ТАКОЙ, или близкий к нему, разговор вполне мог состояться в первые дни приезда Александра Сергеевича Пушкина в Кишинев. Это было 21 сентября 1820 года. Оставив наконец «милое семейство Раевских», поэт прибыл к месту назначения, точнее ссылки — в Кишинев. Существует огромная литература о жизни поэта в Бессарабии. Достаточно сказать, что выдержавшая несколько изданий книга доктора филологических наук Б. А. Трубецкого содержит библиографию в... 218 наименований! И потому разговор, который мы привели, описание дома Инзова, первых впечатлений Пушкина о Кишиневе, где он проживет около трех лет, — все это подтверждается документами, воспомина-

ниями, книгами, трудами ученых.

И самое удивительное, что и сегодня можно, как когда-то сделал это в своей кибитке поэт, спуститься от центра Кишинева к Антоновской улице, оказавшись в том самом доме, в том дворе, в той комнате, где остановился поэт.

Здесь — его музей. Открыт он давно, еще в 1948 году. И нет дня, чтобы не толпились в этих низеньких комнатах десятки экскурсантов. Научные работники музея приносят сюда из архива все новые документы. Длинные, и примеру, списки расквартированных в Кишиневе тех лет русских полков, длинные и такие интересные сегодня подробные описания занятий жителей тогдашнего Кишинева или хотя бы приведенную выше выписку о товарах, проходящих через близкую Скулянскую таможню. Подробности, без которых нет истории...

В этой части молдавской столицы решено создать мемориальную пушкинскую зону, куда войдет и Антоновская улица. Будут, видимо, восстановлены и дом Инзова, и кофейня Антония напротив музея. В зону войдет и дом чиновника Кадина, где собиралась масонская ложа «Овидий» № 25. «Я был масон, — напишет позже Пушкин Жуковскому, — в кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи».

...На трудном жизненном пушкинском пути было несколько человек, любивших поэта как родного. Жуковский. Няня Арина Родионовна. Генерал Раевский. Инзов...

Генерал душевно обиделся, когда Пушкин перешел от него на службу к Воронцову. Ф. Вигель, автор записок о Кишиневе тех лет, вспоминал:

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов. — Ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний... Я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно: но разве я мешал его отлучкам?»

Поступил запрос князя Волконского, начальника главного штаба: «Почему не обратили Вы внимания на занятия его по масонским похвалам? Повторяется вновь. Вашему превосходительству иметь за поведением и деянием его самый ближайший и строгий надзор».

Инзов и тут твердит свое: «Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Я занимаю его письменной корреспонденцией на французском языке... Относительно же его занятий по масонской ложе, то не по открытию таковой, не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было».

Как видим, и начальнику главного штаба Инзов, если считает нужным, правды не скажет.

А ведь, кроме наместника, за поэтом в Кишиневе наблюдали еще десятки глаз. И многие наблюдения доносили современники своим дневникам.

Чиновник П. Долгоруков: «Он всегда готов у наместника, на улице, на площади вслужу на свете дознаывать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России».

Любовь Инзова к Пушкину зиждется на глубокой убежденности: «Обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствуют необходимость себя переиначить». А людей иных свойств в Молдавии в те годы было достаточно — Пестель, Орлов, сам Инзов...

И любовь Пушкина к Ивану Никитичу не была случайной. В «Воображаемом разговоре с Александром И.» поэт записал:

«Ваше величество, генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого английского шалопа всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит вражеским пасквилям».

Остается только пожалеть, что одинокий Инзов так никогда и не прочел этих пушкинских слов.

...Пройдет время, и Пушкин полюбит Молдавию. Переведет ее песни. И эту в том числе: «Арде-мэ, фриже-мэ!» — «Жги меня, режь меня». Песню Земфиры. Образ которой тоже подарили русской литературе бессарабские степи.

Е. ШВЕЦОВА

© «Пушкин и И. Н. Инзов». С картины худ. Л. Григорашенко.